



А. М. РЕМИЗОВ

Философская натура

Владимир Соловьев — жених

Что роком суждено, того не отражу я
Бессильной детской волею своей,
Пройти я должен путь земной, тоскуя
По вечном небе родины моей...

Так начинаются стихи Владимира Соловьева, посвященные его бывшей невесте, Екатерине Владимировне Романовой, в последнее свидание перед ее замужеством; стихи написаны ей в альбом на первой странице 31 января 1878 г. *.

Уже три года, как она ему отказала; она давно его разлюбила... да она по-настоящему любить его никогда не могла, она ему была всегда благодарна: его умные письма доставляли ей «счастье».

Свободолюбивая; детство ей выпало трудное; рано она поняла подлый изворот человеческой жизни; в душе ее, по определению Соловьева, была «божественная искра», и она отказалась от той обыкновенной дороги, по которой идут, как заведено и принято, под знаком «человек есть скот». Она потеряла «детскую» слепую веру, а «сознательной» еще не было, ее тянуло к «реальным» наукам: она мечтает уехать учиться в Петербург или в Москву; единственный, кто ее в этом поддерживал, был ее двоюродный брат — Владимир Соловьев; но отец и мать его были против; они боялись их сближения: одна порода; Поликсена Владимировна Соловьева, урожденная Романова, — сестра отца Екатерины Владимировны; Вл. С. — в мать, Ек. Вл. — в отца.

* Приведенное далее в тексте полностью стихотворение Владимира Соловьева, появляющееся в печати впервые, предоставлено Екатериной Владимировной Селевиной, урожденной Романовой, двоюродной сестрой Вл. Соловьева (*примеч. редакции «Современных записок»*).

Если бы она встретила тогда со Слепцовым — ей шестнадцать лет, — она была бы в Знаменской коммуне¹, если бы встретила с Брешковской², — она пошла бы «в народ».

Теперь ей двадцать три; два года она провела за границей, в Швейцарии, потом Париж, вернулась в Россию — война, поступила сестрой милосердия и собирается на фронт. На нее обратил внимание Александр II*. А кончится война — и очертя голову, без любви, только из жалости (жених из-за нее стрелялся), замужество: как бы исполняя давний завет Вл. Соловьева:

«Твой отказ кн. Дадиани меня очень опечалил... Мне очень жаль, если ты веришь скверной басне, выдуманной скверными писаками скверных романов в наш скверный век, — басне о какой-то особенной, сверхъестественной любви, без чего будто бы непозволительно и вступить в законный брак, тогда как, напротив, настоящий брак должен быть не средством к наслаждению или счастью, а подвигом и самопожертвованием. А что тебе якобы не нравится семейная жизнь, — то разве нужно делать только то, что тебе нравится или что ты любишь?» (Письмо 31 XII 1872 с припиской от 1 I 1873: «Если в этом письме, дорогая моя, тебя что-нибудь оскорбит, то ты простишь меня, потому что знаешь, что я люблю тебя даже больше чем нужно. Прошу тебя, пиши мне поскорее: меня очень интересует дело с предложением, и, помимо того, ты должна знать, что каждая твоя строчка для меня в сорок тысяч раз дороже всей писаной и печатной бумаги в мире»).

С этого и началась любовная переписка**.

* По воспоминаниям Е. М. Лопатиной (К. Ельцовой) («Современные записки». 1926. Кн. XXVIII), Александр II взял Ек. Вл. Романову за подбородок. Было это или не было, Ек. Вл. отрицает: государь ухаживал за ней, но не трогал; а что, оттираемая другими сестрами, она однажды схватила государя за «фалду», это было.

** В «Русской мысли» (1910. Кн. V) М. Б. (Марья Сергеевна Безобразова, сестра Вл. Соловьева) напечатала «Юношеские письма Владимира Соловьева» (1871—1873); 28 писем к Екатерине Владимировне Романовой (по мужу Селевиной). Вл. С. Соловьев (1853—1900) — ему было 18—20 лет; Ек. Вл. (1855 — живет в Париже) — 16—18 лет. Любовная переписка с 6 VII 1873—8 X 1873 — пять месяцев. Подлинники, переплетенные в черную тетрадь, хранятся в Киеве; среди них есть ненапечатанные.

К. В. Мочульский в книге «Владимир Соловьев, жизнь и учение» (Париж: ИМКА-Пресс, 1936) пользовался этими письмами; все, что касается взглядов Вл. Соловьева, его «мыслей», передано им с большой точностью, но в делах житейских (С. 25, 26) не совсем.

Она помнит, это письмо ее тогда совсем запутало, и на ее «выведи меня из этого состояния» он ответил:

«Отвечаю тебе прямо: я люблю тебя, насколько способен любить; но я принадлежу не себе, а тому делу, которому буду служить и которое не имеет ничего общего с личными чувствами, с интересами и целями личной жизни. Я не могу отдать тебе себя всего, а предложить меньше считаю недостойным» (6 VII 1873).

Наконец исполнилось ее желание: она в Петербурге, она помнит, перед ней — цель жизни: «народная школа» (ведь и «несколько человек, освобожденных от того страшного невежества, в котором находится весь русский народ, много значит, когда есть так мало выведенных из этой ужасной темноты»); и как возмутило ее «Преступление и наказание», не могла дочитать; и как она ждала его: придет и все разъяснит; только что это значит: «Насколько способен любить»? «Не могу отдать себя всего»?

«Печально, дорогая Катя, что даже при одинаковой взаимной любви мы не совсем понимаем друг друга. В этом, впрочем, виноват больше я сам: как бы то ни было, постараюсь говорить яснее. Я думаю, ты не можешь сомневаться в моей любви: я даже не умел хорошо скрывать ее до сих пор; теперь же ты даешь мне возможность говорить открыто: я люблю тебя, как только могу любить человеческое существо, а может быть, и сильнее, чем должен. Для большинства людей этим кончается все дело; любовь и то, что за нею должно следовать: семейное счастье — составляет главный интерес их жизни. Но я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь. Поэтому личные и семейные отношения всегда будут занимать второстепенное место в моем существовании. Это-то только я и хотел сказать, когда написал, что не могу отдать тебе себя всего. но это, как я заключаю из твоего письма, не может изменить твоих чувств ко мне. С моей же стороны, хотя та задача, о которой я говорю, такого рода, что не может быть ни с кем разделена, но, конечно, участие любимой женщины должно поддерживать и укреплять силы в тех тяжелых ударах и жизненной борьбе, с которыми необходимо связано разрешение всякой серьезной задачи. Эта помощь незаменимая, и, конечно, только от тебя могу я ее принять. Но ты знаешь, моя дорогая, что не от нас и не от нашей любви зависят наши отношения* (хотя мне несколько затруднительно писать об этом так прямо, но я должен прибавить, что разумею единственно только то со-

* Родители Соловьева не соглашались на брак из-за близкого родства.

единение, которое освящается законом и Церковью: ни о каких других отношениях между нами не может быть и речи). Устранить эти препятствия очень трудно, но возможно. Во всяком случае, нужно употребить все средства. Пока я предлагаю следующее: мы подождем три года, в течение которых ты будешь заниматься своим внутренним воспитанием, а я буду работать над заложением первоначального основания для будущего осуществления моей главной задачи, а также постараюсь достигнуть определенного общественного положения, которое бы мог тебе предложить. Если ты согласна, то об этом еще поговорим при свидании. Много бы хотел сказать тебе, но слова немые и пошлы» (10 XI 1873).

И еще она помнит: тогда же — Петербург — вот и лето прошло, так он и не приехал («поговорим при свидании»!), а скоро зима; «большая перемена произошла за последнее время», она уже не та, она его не ждет...

«Во-первых, пишу “Историю религиозного сознания в древнем мире” (начало уже печатается в журнале). Цель этого труда — объяснение древних религий, необходимое потому, что без него невозможно полное понимание всемирной истории вообще, и христианства в особенности. Во-вторых, продолжаю заниматься немцами и пишу статью (также для журнала) о современном кризисе западной философии, которая потом войдет в мою магистерскую диссертацию; конспект этой последней уже мною написан. В-третьих, читаю греческих и латинских богословов древней церкви. Их изучение также необходимо для полного понимания христианства. Все это только начальные, подготовительные занятия, настоящее дело еще впереди. Без этого дела, без этой великой задачи мне незачем было бы и жить, без него я бы не смел и любить тебя. Я не имел бы никакого права на тебя, если бы не был вполне уверен, что могу дать тебе то, чего другие дать не могут. Ты видела и всегда можешь видеть у ног своих множество людей, которые имеют надо мной все внешние преимущества. Пока, в настоящем, я ничто...»

Есть два начала света и цвета жизни: любовь и любва — любить и любиться. «Разожженный уголек» в крови и белый, самый жаркий и пронзительный свет... но кровь и есть дух. Самые знойные песни сложила любва; самые высокие помыслы от белого пронзительного света. И преступления до ножа как от любви, так и в любви. И у любвы и у любви нет половинок: все или ничего.

«Философская натура» на тонких ногах — Владимир Соловьев, не Рогожин, не Свидригайлов — не Достоевский. В его «недоношенной» натуре белый жаркий свет, не «уголек». Никакой знойной песни Лермонтова, или Некрасова, или Блока не может быть в стихах Соловьева, но мысли его семянны, и видения его жарки.

Вот она с длинными глазами сверкающей панночки «Вия» — маленький красный рот, а это, как у Полины в «Игроке», следок ноги узкий и длинный — мучительный.

«Сегодня я только к утру задремал и видел тебя почти как наяву. Ощущаю Katzenjammer³. Если тебе сколько-нибудь дорого мое спокойствие, если ты меня не на словах только любишь, пиши мне хоть раз в неделю несколько слов. Прощай, мое сокровище, обнимаю тебя всей силой своего воображения; придет ли наконец время, когда обниму тебя в действительности, радость моя, мучение мое!» (8 X 1873).

Он покори́л ее своим белым, самым жарким и пронзительным светом. Но он никакой кентавр, в его философии ничего от философа Хомы Брута. И если бы он осмелился не в одном «воображении» — судьба его была бы судьбой пса́ря Микиты: куча золы да пустое ведро.

Соловьев-жених — не Чехов со своей «собакой»; есть что-то общее с повадкой и существом Андрея Белого, та же «мудрость змия и незлобивость голубя», шитая белыми нитками, и то же прозрачное «лукавство», и пуганица, и слепота.

«Только что отправил жалобу на твое молчание, дорогой мой друг Катя, как получил твое письмо, обрадовавшее меня бесконечно. (Ты, однако, не думай, чтобы я высказывал свою радость; при получении твоих писем я изображаю олицетворенное равнодушие. Вообще, я становлюсь гораздо сдержаннее, даже начинаю лукавствовать, уверяю тебя: хочу быть мудр, аки змий, и незлобив, аки голубь.) Что касается наших отношений, то хочешь ли ты или не хочешь, я дал и еще даю тебе слово, о котором говоришь. Способен ли я обмануть, это окажется в будущем, на деле, говорить же об этом нечего» (2 VIII 1873). «Подателю сего письма, если он будет говорить обо мне, верь не безусловно, не потому, чтобы он стал нарочно врать (он человек порядочный), но потому, что я не был с ним вполне откровенен, точно так же, как ни с кем другим, кроме тебя одной. A propos des bottes⁴: какой невозможный вздор слышал я про тебя с разных сторон. Удивлялся изобретательности человеческого изображения. Не поверил ничему ни на минуту. Писал тебе, что начинаю лукавствовать. С непривычки не очень успешно: иногда прорываюсь

самым смешным образом. А иногда и не хочется притворяться, как будто что дурное скрывать» (10 VIII 1873). «Что ты пишешь мне, дорогая Катя, о сделанном тебе предложении, было мне очень неприятно отчасти по той моей бессмысленной, гадкой ревности, вследствие которой у меня скребет на сердце каждый раз, когда кто-нибудь другой даже только произносит твое имя, не то что делает тебе предложение; но еще более потому, что очень-очень тяжело шагать через других и, мечтая о спасении человечества, по какой-то злой иронии жизни быть невольной причиной чужого несчастья. Напиши мне, пожалуйста, как подействовал на него твой отказ (не Пасеком ли его зовут?). Все, что ты пишешь о моих целях, совершенно справедливо. Только ты напрасно воображала, что я мечтаю о каком-то мгновенном возрождении человечества. Живого плода своих будущих трудов я, во всяком случае, не увижу. Для себя лично ничего хорошего не предвижу. Это еще самое лучшее, что меня сочтут за сумасшедшего. Я, впрочем, об этом очень мало думаю. Рано или поздно успех несомненен — этого достаточно. Мы должны исполнять свою обязанность — вот и все, а определять времена и сроки — не наше дело. Иногда далекое предстается уму близким — тем лучше — это утешает. Что это у тебя за странная фраза: боюсь надоесть своей болтовней?»

Свидание с женихом, по ее вычислениям, через 114 дней! Мечту о «народной школе» сменила музыка — появился кентавр.

Всеволод Соловьев * (в письмах он называется «джентльмен», В. и Х.) будет заниматься с ней историей. Он старше Вл. С., вот уж ничего общего с братом: он в отца, такой же коренастый, широкоплечий. В ее альбом за август написал он шесть стихотворений, и в каждом самое пылкое признание. А когда временно уедет из Петербурга в Москву, между ними начнется переписка.

За днями дни обычной чередой
Идут — а я письма не получаю,
Другим же пишешь ты... Что случилось с тобой?
Я этого совсем, мой друг, не понимаю!

«По крайней мере, спокоен, что ты здорова, ибо другим пишешь. Видишь, однако, до чего любовь может доводить даже философские натуры: еще немного, — и я буду писать настоящие

* Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903), романист.

стихи, буду списывать их в тетрадь и угощать ими своих близких, по примеру известного тебе джентльмена, о котором, кстати, будет и речь. На другой день по его отъезде, только что я проснулся и еще не совсем пришел в себя, внезапно является Аполлон (не тот, которому поклонялись древние греки, а наш лакей Аполлон) и подает мне письмо, полученное накануне в мое отсутствие. Вижу твою руку и, не разобравши хорошенько адрес, распечатываю и читаю начало. Из сего начала вижу, что упомянутый джентльмен (к которому оказалось адресовано Ваше письмо) вторгается туда, где его никто не желает. Ты бы очень хорошо сделала, если бы раз и навсегда положила должный предел его порывам. Имею слишком достаточное основание, постоянно страдая от своей доверчивости, предупреждать тебя: не доверяй людям вообще, а петербургским джентльменам в особенности. Как ни стараюсь во всех людях видеть настоящего человека, но должен признать начальную и давно известную истину, что в людях совсем мало человеческого, а гораздо более преобладает образ различных зверей, как-то: волка, лисицы, свиньи, гиены, осла и т. п. ... Ты мне никогда ничего не пишешь о себе. Неужели ты не веришь, что для меня важно все, что до тебя касается. Пиши же, я серьезно беспокоюсь. В Сергиевский посад окончательно переселяюсь 8 сентября, когда начнутся академические занятия. Ты мне должна будешь писать, по крайней мере, 2 раза в неделю. Кроме твоих писем, у меня там ничего живого не будет» (25 VII 1873). «В. (Всеволод) раз мне рассказывал, какое ты мнение имеешь и т. д., я уже писал тебе, дорогая, чтобы ты относительно меня не верила В., потому что я не был с ним искренен: я ему действительно говорил то, что он тебе передавал, но говорил нарочно, о чем тебя и предупреждал. Не знаю, почему тебе неприятно, что я живу отшельником, т. е. избегаю бессмысленных забав и не развратничаю. Вероятно, тебе что-нибудь наврали. Относительно твоих сомнений могу только заметить, что наша разлука достаточно долга, чтобы “минутное увлечение” успело пройти; минутные увлечения у меня бывали, и я знаю разницу» (26 VII 1873). «Не быть мнительным и ревнивым я не могу: это болезнь характера и, следовательно, неизлечима. Но, конечно, ее можно скрывать. Во всяком случае, моя ревность остается при мне: ты ведь не можешь пожаловаться, чтобы я тебя обвинял или упрекал в чем-нибудь, а самого себя мучить я, конечно, имею право. Итак, об этом больше ни слова. Что касается нашего свидания, то я сам думал его ускорить. Если ничего особенного не случится, то буду в Петербурге в начале ноября (около десятых чисел). 7 недель еще подожди меня — это сравнитель-

но недолго. Писать не буду часто — времени нет: нужно хорошенько потрудиться, чтобы сколько-нибудь заслужить радость свидания с тобою. Ты же пиши мне, жизнь моя. Очень рад, что ты будешь заниматься музыкой. Экзамен тоже не мешает на всякий случай выдержать. Но скажи, пожалуйста, как это ты будешь заниматься с X. (Всеволодом)? Мне кажется забавным. Впрочем, о X. (Всеволоде) я не хочу распространяться, потому что должен сказать, что, как это ни скверно с моей стороны, я просто не люблю его. Как я ни старался себя принудить, как ни уверял себя, что должен его любить и что люблю, — не удастся. Это какая-то инстинктивная антипатия. Напротив, я был бы очень рад, если бы представился случай оказать ему какую-нибудь важную услугу, чтобы, по крайней мере, не быть неблагодарным, как он меня в этом упрекает. Тем не менее у меня к нему (и странно — к нему одному) очень нехорошее чувство. Впрочем, надеюсь это со временем пересилить, тем более что он ненависти и вражды ни в коем случае не заслуживает: он более пуст, чем зол. Прости, моя радость, я верю твоей любви и полагаюсь на нее» (23 IX 1873).

«Семь недель еще подожди меня — это сравнительно недолго!» И он трудился в Сергиевском посаде, чтобы «заслужить радость свидания». А ей в Петербурге за музыкой и «историей» ни до чего: кентавр победил!

«Сегодня полученное мною письмо возбудило во мне такую необычайную радость, что я стал громко разговаривать с немецкими философами и греческими богословами, которые в трогательном союзе наполняют мое жилище. Они еще никогда не видели меня в таком неприличном восторге, и один толстый отец Церкви даже свалился со стола от негодования. Я ведь уже был вполне уверен, что между нами все кончено, и только не мог придумать, отчего и как это случилось...»

Эка! И давно все кончено, а случилось очень просто. Говоря житейски: «проворонил», а попросту — «прогнул» (?). Хорош жених! Да надо было тогда же, после объяснения (письмо 11 VI 1873), несмотря ни на что, немедленно ехать к ней в Петербург, а не откладывать, не философствовать и не оправдываться.

И это она помнит, еще бы! Москва, 25 июля:

«Пожалей меня, дорогая моя, жизнь моя, Катя: еще четыре месяца должен я дожидаться свидания с тобою. Совсем собрался ехать в Петербург: спрашивают, зачем ты теперь туда едешь? — “Для таких-то и таких-то дел”. — “Но в Петербурге летом никаких дел сделать нельзя, никого из нужных людей не найдешь,

все на лето разъезжаются”. — “Но мне необходимо заниматься в Публичной библиотеке”. — “Зимой там заниматься гораздо удобнее, а теперь и в библиотеке никого не добьешься”. Что же? Мне оставалось или признаться, что я еду в Петербург единственно для того, чтобы видеть тебя, что мне там, кроме моей Кати, никого и ничего не нужно, — сказать эту правду прямо было бы глупостью непоправимой; или же приходилось согласиться с основательными доводами и принять предложение папá ехать в Петербург с ним вместе 1 декабря, в воскресенье, в 8 ¹/₂ часов вечера. Я согласился и, кажется, поступил благоразумно. Но только теперь, когда дело уже кончено, чувствую я, до чего невыносимо тяжело мне это благоразумие, никогда не испытывал такой смертельной тоски. Знаю, что и тебе невесело одной в скверном пустом городе. Давно бы приехал, несмотря ни на что, если бы можно было это сделать, не компрометируя тебя же. Да, кажется, не много роз придется нам сорвать на нашей дороге. Это, впрочем, и хорошо: быть счастливым вообще как-то совестно, а в наш печальный век и подавно. Тяжелое утешение! Есть, правда, внутренний мир мысли, недоступный ни для каких душевных непогод, — мир мысли не отвлеченной, а живой, которая должна осуществиться в действительности. Я не только надеюсь, но так же уверен, как в своем существовании, что истина, мною сознанный, рано или поздно будет признана и другими, признана всеми, и тогда своею внутреннею силою преобразит она весь этот мир жижи... все это исчезнет, как ночной призрак перед восходящим в сознании светом вечной Христовой истины, доселе не понятой и отверженной человечеством, — и во всей своей славе явится царство Божие — царство внутренних, духовных отношений, чистой любви и радости — новое небо и новая земля, в которых правда живет, но невозможно ничтожному человеку постоянно жить в этом мысленном, еще не осуществленном для нас мире. Сердце берет свои права, и опять тяжелая тоска, тупое страдание, и еще невыносимее становятся мелкие препятствия и столкновения, все эти пощечины обыденной жизни. Радость моя, дорогая моя, в эти минуты душевной усталости, слабости и отчаяния только твоя любовь может поддерживать, ободрять меня: напоминай мне о ней чаще, умоляю тебя, я еще не верю вполне, прости меня. Твой навсегда».

«Навсегда»? — вот когда было все кончено навсегда: живое «безумное» человеческое сердце — огонь — и... это «благоразумие»! Или и так — по слову пророка Аввакума: «Не им было а бысть же было иным»⁵. Или...

Что роком суждено, того не отражу я
Бессильной детской верою своей.
Пройти я должен путь земной, тоскуя
По вечном небе родины моей.

Звезда моя вдали сияет одиноко —
В волшебный мир лучи ее манят,
Но недостоин этот мир далекий, —
Пути к нему не радость мне сулят.

Прости ж, и лишь одно последнее желанье,
Последний вздох души моей больной —
О, если б я за горькое страданье,
Что суждено мне волей роковой,

Тебе мог дать златые дни и годы,
Тебе мог дать все лучшие цветы,
Чтоб в новом мире света и свободы
От злобной жизни отдохнула ты.

Чтоб смутных снов тяжелые виденья
Бежали все от солнечных лучей,
Чтоб на всемирный праздник возрожденья
Явилась ты всех чище и светлей.

Она стояла перед ним — и это было наяву, не трепетно, как в видении: на ее голове крылил белый убор сестры милосердия; видит ли он или не видит, как тенью следит она из-под опущенных глаз, — он видел этот непорочный убор: его белый цвет сверкал самым жарким и пронзительным светом, красное, как рана, раскаленным углем на груди — крест. И «рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу»⁶.

